

ГЕНРИК
СЕНКЕВИЧ

Без догмата



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика (АСТ)

Генрик Сенкевич

Без догмата

«Издательство АСТ»

1891

УДК 821.162.1-31
ББК 84(4Пол)-44

Сенкевич Г.

Без догмата / Г. Сенкевич — «Издательство АСТ»,
1891 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-184043-3

«Без догмата» – роман-дневник, ставший знаковым в творческой биографии Сенкевича. Он был высоко оценен Куприным, Чеховым и Толстым, отмечавшими его глубокий психологизм. Это роман о «лишнем человеке», Леоне Плошовском, которому присущи скептицизм, индивидуализм, отождествление себя с «европейским человеком» и полное отсутствие «догматов» – понятия морали и долга. Однажды совершив необдуманый поступок, он навсегда упускает возможность любить и стать счастливым человеком, а ведь только «с любовью жизнь имеет цену, без нее – не стоит ломаного гроша»...

УДК 821.162.1-31

ББК 84(4Пол)-44

ISBN 978-5-17-184043-3

© Сенкевич Г., 1891
© Издательство АСТ, 1891

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

27

Генрик Сенкевич

Без догмата

Серия «Зарубежная классика»

Перевод с польского *М. Абкиной*

Перевод цитат из пьесы В. Шекспира *Т. Щепкиной-Куперник*



© Перевод. М. Абкина, 2026

© Перевод, стихи. Т. Щепкина-Куперник, наследники, 2026

© ООО «Издательство АСТ», 2026

Рим, 9 января 1883 г.

Несколько месяцев назад я встретился с моим другом, Юзефом Снятынским, который в последнее время занял видное место среди польских писателей. Мы беседовали о литературе, и Снятынский сказал, что он придает величайшее значение всяким мемуарам. По его мнению, человек, оставивший после себя дневник, как бы он ни был написан, хорошо или плохо, лишь бы искренне, передает будущим психологам и писателям не только картину своей эпохи, но и правдивый человеческий документ, единственный, которому можно верить. Снятынский утверждает, что в будущем дневники и мемуары станут главнейшей формой повествования, что вести дневник – заслуга перед обществом, и человек, который трудится таким образом для общества имеет право на его признательность.

И вот, так как я дожил до тридцати пяти лет, но не помню, чтобы до сих пор сделал что-нибудь для нашего общества (хотя бы уже потому, что по окончании университета почти постоянно, с небольшими только перерывами, жил за границей), и так как – хотя говорю я об этом в тоне юмористическом и, как губка, весь пропитан скептицизмом – в сознании своей бесполезности есть немало горечи, я решил вести дневник. Если это и в самом деле труд для общества и заслуга перед ним – пусть я хоть таким путем буду ему полезен.

Хочу, однако, быть до конца искренним: за дневник я принимаюсь не только из таких соображений, но и потому, что идея эта меня занимает. Снятынский уверяет, что когда заведешь привычку записывать свои мысли и впечатления, это становится любимейшим делом в жизни. Если со мной произойдет обратное, то бог с ним, с дневником! Не буду обманывать себя – я уже предвижу, что тогда дело лопнет, как слишком туго натянутая струна. Для общества я готов на многое, но скучать ради него – ну нет, на это я не способен.

Впрочем, я решил не пугаться первых трудностей. Постараюсь привыкнуть и войти во вкус этого занятия. Снятынский во время наших бесед беспрестанно твердил мне: «Только не гонись за стилем! Не пиши литературно». Легко сказать! Я хорошо знаю, что чем писатель талантливее, тем меньше в его писаниях «литературности». Но я-то – дилетант и не владею формой. Знаю по собственному опыту: человеку, который много думает и сильно чувствует, часто кажется, что стоит только попросту записать свои мысли, и получится нечто незаурядное, а между тем как только за это примешься, невольно начинаешь подражать каким-либо стилистическим образцам, и хотя бы человек писал только для себя, он безотчетно принимает

какую-то позу и ударяется в банальное фразерство. Мысли его не желают переходить на бумагу, и, можно сказать, не голова управляет пером, а перо – головой, и притом с пера текут такие плоские, пустые, фальшивые слова! Этого-то я и боюсь. Боюсь главным образом потому, что если мне не хватает навыков, красноречия, настоящей художественной простоты и так далее, то вкуса у меня, во всяком случае, достаточно, и стиль моего писания может опротивить мне до такой степени, что писать станет просто невозможно. Ну, да там видно будет! А пока я хочу сделать краткое вступление к своему будущему дневнику – сообщить кое-что о себе.

Зовут меня Леон Плошовский, и мне, как я уже упоминал, тридцать пять лет. Я из довольно богатого рода, сохранившего до последнего времени состояние далеко не среднее. Я же, несомненно, фамильного состояния не умножу, но зато и не промотаю его. Положение мое в обществе таково, что мне нет надобности карабкаться вверх или покупать себе какие-то привилегии. Ну а разорительные и разрушительные наслаждения... Я ведь скептик и знаю всему истинную цену, вернее говоря – знаю, что все в жизни ни черта не стоит.

Мать моя умерла через неделю после моего рождения. Отец любил ее больше жизни, и после ее кончины у него часто бывали приступы тяжелой меланхолии. Излечившись от нее в Вене, он не захотел вернуться в свое родовое поместье, где воспоминания разрывали ему сердце. Он отдал Плошов своей сестре, моей тетушке, а сам в 1848 году поселился в Риме и безвыездно живет в этом городе больше тридцати лет, не желая расставаться с могилой моей матери. (Я забыл упомянуть, что он перевез гроб с ее телом из Польши в Рим и похоронил ее на Кампо Санто.)

В Риме у нас на Бабуино собственный дом, называется он «Каза Озориа» – по нашему фамильному гербу. Дом этот немного напоминает музей, у отца собраны здесь коллекции поистине замечательные, и особенно богато представлены первые века христианской эры. Теперь эти коллекции составляют главное содержание его жизни. В молодости отец был человек выдающийся по уму и внешности. И так как притом знатность и большое состояние открывали перед ним все дороги, ему предсказывали блестящее будущее. Я слышал это от его товарищей по Берлинскому университету. В те времена он усиленно изучал философию, и все утверждали, что имя его со временем станет по меньшей мере столь же знаменито, как имена Цешковского¹, Либельта² и других. Светская жизнь и неслыханный успех у женщин отвлекали его от серьезной научной работы. В светских гостиных его называли Léon l'invincible³. Впрочем, успехи эти не мешали ему по-прежнему заниматься философией, и все ожидали, что не сегодня-завтра он выпустит в свет замечательную книгу, которая принесет ему всеевропейскую славу.

Ожидания эти не сбылись. А от блистательной внешности и в старости оставалось еще кое-что – я в жизни не встречал головы благороднее и прекраснее. Художники того же мнения, и еще недавно один из них говорил мне, что более совершенный тип патриция трудно себе представить. В науке же отец был, есть и останется только очень способным и высокообразованным шляхтичем-дилетантом. Я склонен думать, что дилетантизм – удел всех Плошовских, и подробнее скажу об этом в дневнике тогда, когда придется говорить о самом себе. Об отце же скажу еще, что он хранит до сих пор в ящике письменного стола свой пожелтевший от времени философский трактат «О тройственности». Я эту рукопись как-то перелистал – и она нагнала на меня скуку. Помню только, что в ней сопоставляется троица реальная – кислород, водород и азот – с троицей трансцендентальной, выдвинутой христианским учением в виде понятия о боге-отце, боге-сыне и духе святом. Кроме того, отец приводит множество примеров подобных же троиц – начиная с добра, красоты и правды и кончая логическим силлогизмом, слагающимся из посылки большей, посылки меньшей и вывода, – удивительная мешанина идей

¹ Цешковский Август (1814–1894) – польский философ и экономист.

² Либельт Кароль (1807–1875) – польский философ и эстетик, литературный критик и публицист.

³ Леон Непобедимый (*фр.*).

Гегеля с идеями Гене-Вронского⁴, теория весьма сложная и абсолютно бесплодная. Я убежден, что отец никогда не станет этого печатать, хотя бы уже потому, что разочаровался в умозрительной философии еще раньше ее банкротства во всем мире.

Причиной этому была смерть моей матери. Отец, вопреки своему прозвищу Непобедимый и репутации покорителя сердец, был человеком в высшей степени чувствительным и мать мою просто боготворил. Потеряв ее, он, вероятно, искал в своей философии ответа на многие «проклятые» вопросы и, не найдя в ней ни ответа, ни утешения, понял, как она пуста, как бессильна перед горестями жизни. Да, он, должно быть, пережил ужасную трагедию, лишившись сразу двух жизненных опор; сердце его было растерзано, ум потрясен. Тогда-то он и впал в меланхолию, а когда излечился от нее, вернулся к религии. Мне рассказывали, что одно время он дни и ночи проводил в молитве, на улице становился на колени у каждой церкви и доходил до такого религиозного экстаза, что в Риме одни считали его помешанным, другие – святым.

И, видно, он обрел в религии большее утешение, чем в своих философских «троицах», ибо постепенно успокоился и вернулся к действительности. Всю нежность своего сердца он изливал на меня, а его эстетические и умственные интересы сосредоточились на первых веках христианства. Ум его, живой и острый, требовал пищи. На второй год жизни в Риме он занялся археологией и другими науками, знакомящими с культурой древних времен. Мой первый гувернер, патер Кальви, очень хорошо знавший Рим, склонил отца к изучению Вечного города. Лет пятнадцать назад отец познакомился и подружился с великим Росси, и оба они целые дни проводили в катакомбах. Благодаря своим незаурядным способностям отец скоро так изучил Рим, что удивлял своими познаниями самого Росси. Он не раз принимался писать о Риме, но почему-то никогда не доводил начатого до конца. Быть может, все время уходило у него на пополнение коллекций. И, вернее всего, он не оставит после себя ничего, кроме этих коллекций, потому что не ограничился изучением одной эпохи и не избрал себе одну какую-нибудь специальность. Постепенно средневековый Рим баронов заинтересовал его не меньше, чем первые века христианства. Одно время он был поглощен только историей родов Колонна и Орсини, потом занялся эпохой Возрождения и увлекся ею до самозабвения. От изучения надписей, гробниц, первых памятников христианской архитектуры он перешел к позднейшим временам, от византийской живописи – к Фьезоле и Джотто, от них – к другим художникам XIV и XV веков; любовно собирал картины, скульптуру. Его коллекции, несомненно, выиграли от этого, но задуманное им великое произведение на польском языке – книга о трех Римях – так и осталось в числе неосуществленных замыслов.

Относительно своих коллекций у отца родилась прелюбопытная идея: он хочет завещать их Риму, но с тем условием, чтобы их поместили в отдельном зале с надписью над входом: «Музей Озориев-Плошовских». Разумеется, воля его будет исполнена. Странно только, что отец уверен, будто таким образом он окажет своим соотечественникам большую услугу, чем если бы перевез эти коллекции в Польшу.

Недавно он сказал мне:

– Понимаешь, там их никто не увидит и никому от них не будет пользы, а в Рим приезжают люди со всего света, и каждый из них, побывав в этом музее, припишет всему польскому народу заслугу одного поляка.

Нет ли тут доли фамильного тщеславия и не повлияла ли на решение отца мысль, что имя Плошовских будет высечено на мраморе в Вечном городе? Мне, его сыну, неудобно в этом разбираться. Однако скажу прямо – по-моему, так оно и есть. Ну а мне, в конце концов, довольно безразлично, где будут находиться отцовские коллекции.

Зато мою тетушку (к которой я, кстати сказать, на днях еду в Варшаву) глубоко возмущает намерение отца оставить навсегда свои коллекции в Риме. А тетушка – такая женщина,

⁴ Гене-Вронский Юзеф Мария (1776–1853) – польский философ, математик, астроном.

которой ничто на свете не может помешать высказать напрямик то, что она думает. Вот она и выражает свое негодование без всяких обиняков в каждом письме к отцу. Несколько лет назад она приезжала в Рим, и тогда они с отцом каждый день спорили по этому поводу и, быть может, поссорились бы окончательно, если бы безмерная привязанность тетушки ко мне не умеряла ее запальчивости.

Тетушка несколькими годами старше моего отца. Уезжая из Польши после постигнутого его несчастья, отец при разделе имущества взял свою часть деньгами, а ей оставил родовое поместье Плошов. Тетушка хозяйничает там вот уже больше тридцати лет, и хозяйничает превосходно. Она женщина в своем роде замечательная, и потому я скажу о ней несколько слов. В двадцать лет она была помолвлена с одним молодым человеком, а он умер за границей как раз тогда, когда тетушка собралась ехать к нему. С тех пор она отказывала всем, кто к ней сватался, и осталась старой девой. После смерти моей матери она сопровождала отца в Вену, а потом в Рим, где прожила с нами несколько лет, окружая брата самыми нежными заботами. Любовь эту она потом перенесла на меня. Она настоящая *grande dame*⁵, немного деспотична и высокомерна, не стесняясь рубит что хочет всем в глаза, полна той самоуверенности, которую дают богатство и высокое положение в свете, а при всем том эта женщина – воплощенное благородство и прямотушие. Под ее внешней суровостью скрывается всепрощающее золотое сердце, полное любви не только к своим – к моему отцу, ко мне, домочадцам, – но и ко всем людям вообще.

Тетушка так добродетельна, что я, право, не знаю, ставить ли ей это в заслугу, – ведь она попросту неспособна быть иной. Благотворительность ее вошла в поговорку. Она гоняет деревенских баб и нищих не хуже полицейского, но опекает их, как святой Винцент а Пауло.

Тетушка очень набожна. Никогда и тень сомнения не закрадывалась ей в душу. Все, что она делает, делается в силу непреложных принципов, и она никогда не колеблется в выборе пути. Оттого она всегда покойна и очень счастлива. В Варшаве ее за резкость прозвали «*le bourreau bienfaisant*»⁶.

Некоторые люди, особенно женщины, ее не любят. Но в общем тетушка пользуется большим уважением во всех слоях общества.

Плошов находится недалеко от Варшавы, а в Варшаве у тетушки есть собственный дом. Поэтому зиму она проводит в городе. И каждую зиму настойчиво приглашает меня к себе, надеясь меня женить. Вот и сейчас я получил от нее письмо, полное таинственных намеков, в котором она заклинает меня приехать. Что ж, надо будет съездить: я давно не был на родине, и к тому же тетушка пишет, что стареет и хотела бы повидать меня, пока жива.

Признаюсь, не радует меня эта поездка. Знаю – тетушка жаждет женить меня, это ее заветная мечта. Но каждый раз, когда я гощу у нее, ее постигает горькое разочарование. При одной мысли о таком решительном шаге, как женитьба, мне становится страшно. Ведь это значило бы начать какую-то другую, новую жизнь, а меня и та, что прожита, порядком утомила. Наконец, ехать к тетушке мне неохота еще и потому, что меня несколько смущает ее отношение ко мне. Она видит во мне (как некогда все знакомые – в моем отце) человека исключительно одаренного, от которого следует ожидать великих дел. Оставляя ее в этом заблуждении, я как бы злоупотребляю ее доверчивостью. Объяснить же ей, что от меня не только великих дел, но и вообще ничего ждать не приходится, значило бы предопределять будущее, которое пока только весьма вероятно, и притом нанести старушке тяжелый удар.

На мою беду, быть может, многие близкие мне люди разделяют мнение тетушки. Раз уж к слову пришлось, следует высказать здесь и мою собственную точку зрения. Но это будет нелегко, поскольку я – существо в высшей степени сложное.

⁵ знатная дама (*фр.*).

⁶ «жестоким благотельницей» (*фр.*).

Я родился на свет с крайне впечатлительными нервами, утонченными культурой многих поколений. В первые годы детства воспитывала меня тетушка, а когда она уехала на родину – ее, как принято в наших семьях, сменили бонны. Жили мы в Риме, на чужбине, а отец хотел, чтобы я хорошо знал родной язык, поэтому одна из моих бонн была полька. Она поныне живет у нас в доме на Бабуино – ведет хозяйство. Отец и сам усердно занимался со мною; особенно много времени я проводил с ним начиная с пятилетнего возраста. Я приходил к нему в кабинет, и беседы наши чрезвычайно способствовали моему развитию, пожалуй даже преждевременному. Позднее, когда научная работа, археологические изыскания и пополнение коллекций отнимали у отца все время, он пригласил ко мне учителя, патера Кальви, человека пожилого, глубоко верующего, с удивительно ясной душой. Больше всего на свете он любил искусство. Думается мне, он и религию воспринимал прежде всего с ее эстетической стороны. Созерцая в музеях шедевры искусства или слушая музыку в Сикстинской капелле, мой учитель приходил в настоящий экстаз. Однако в его страсти к искусству не было ничего языческого, в основе ее лежало не сибаритство, не чувственное наслаждение. Патер Кальви любил искусство той чистой и светлой любовью, какой, вероятно, любили его Фьезоле, Чимабуэ или Джотто; притом в этом чувстве было много смиренного преклонения, ибо сам он не обладал никакими решительно талантами. Чем более он сознавал свое бессилие, тем глубже чувствовал красоту, созданную другими. Трудно сказать, какое из искусств он предпочитал, – мне кажется, он во всем любил прежде всего гармонию, отвечающую гармонии его души.

Не знаю почему, всякий раз, когда я вспоминаю патера Кальви, передо мной встает тот старец на картине Рафаэля, который стоит подле святой Цецилии, словно заслушавшись музыки сфер.

Отец и патер Кальви скоро стали друзьями и оставались ими до самой смерти моего воспитателя. Именно он поддерживал интерес отца к археологии и к Вечному городу. Кроме того, этих двух людей сблизила привязанность ко мне. Оба считали меня необычайно одаренным ребенком, подающим бог весть какие надежды в будущем. Мне теперь часто приходит в голову, что я был для них обоих тоже своего рода гармонией, дополняющей мир, в котором они жили, и любовь их ко мне имела нечто общее с тем чувством, которое вызывал в них Рим и его достопримечательности.

Такая атмосфера, такое окружение не могли не сказаться на мне. Воспитывали меня довольно своеобразно. Я с патером Кальви, а часто и с отцом посещал картинные галереи, музеи, бродил по загородным виллам, руинам, катакомбам. Красоты природы производили на патера Кальви впечатление столь же сильное, как и чудеса искусства. И под его влиянием я рано научился чувствовать меланхолическую поэзию римской Кампаньи, гармоничность рисующихся на фоне неба арок и линий разрушенных водопроводов, чистоту контуров пиний. Мне, мальчику, еще нетвердо знавшему четыре правила арифметики, случалось в картинных галереях поправлять англичан, которые путали Карраччи с Караваджо. Латыни я выучился рано, это было мне легко, ибо, как житель Рима, я свободно говорил по-итальянски. В одиннадцать лет я уже высказывал суждения о мастерах живописи Италии и других стран, и эти суждения, при всей своей наивности, заставляли патера Кальви и отца обмениваться изумленными взглядами. Так, например, я не любил Риберы – чересчур резкие контрасты черного и белого немного пугали меня – и любил Карло Дольчи. Словом, в нашем доме и домах всех наших друзей я считался чудо-ребенком. Я слышал не раз, как меня хвалили, и похвалы эти разжигали во мне тщеславие.

Обстановке, в которой я рос, я обязан и тем, что нервы у меня навсегда остались крайне впечатлительными. Однако вот что странно: воспитание повлияло на меня не так глубоко, как следовало ожидать. То, что я не посвятил себя искусству, объясняется, наверное, отсутствием талантов, хотя мои учителя музыки и рисования были на этот счет другого мнения. Но почему ни отец, ни патер Кальви не сумели хотя бы привить мне своей страсти к искусству – вот над

чем я часто задумываюсь. Понимаю я искусство? Да. Нужно оно мне? Тоже да. Но они его действительно любили, а я отношусь к нему как дилетант, и оно мне нужно не более, чем всякие другие приятные впечатления и сладостные утехы в жизни. В общем, у меня к нему склонность, но не страсть. Я не мог бы, пожалуй, обойтись без искусства в жизни, но всю жизнь не посвятил бы ему.

Так как школы в Италии оставляют желать лучшего, отец послал меня учиться в Метц, и я окончил тамошнюю коллегию без особых усилий и со всеми отличиями и наградами, какие только возможно было получить. Правда, за год до окончания я бежал к карлистам и два месяца бродил в Пиренеях с отрядом Тристана. Меня разыскали при содействии французского консула в Бургосе и отправили в Метц искупать вину. Впрочем, должен сказать, что покаяние оказалось не особенно тяжелым, ибо в глубине души и отец и наставники были горды моим поступком. И наконец большими успехами на экзаменах я скоро заслужил полное прощение.

Конечно, в такой школе, как наша, все учащиеся были за Дон-Карлоса и потому видели во мне героя. А так как я притом еще был первым учеником, то и верховодил всеми в школе, и никому из мальчиков в голову не приходило оспаривать мое первенство. Я рос в безотчетном убеждении, что и в будущем, на более широком поприще, меня ждет то же самое. Эту уверенность разделяли мои учителя и товарищи. А между тем что получилось? Многие мои школьные товарищи, которые не думали, не гадали, что когда-нибудь смогут со мной соперничать, сейчас во Франции заняли видное место в литературе, науке, политике, а я до сих пор даже не избрал себе профессии и, право, был бы в сильном затруднении, если бы мне приказали это сделать. У меня прекрасное положение в обществе, я получил наследство после смерти матери, получу когда-нибудь и от отца, буду хозяйничать в Плошове и – худо ли, хорошо ли – распоряжаться большим состоянием, но уже самый круг этих занятий исключает возможность выдвинуться, сыграть какую-нибудь роль в мире.

Хорошего хозяина и администратора из меня тоже никогда не выйдет – это я отлично знаю. Ибо хотя я не собираюсь отказываться от этих занятий, но и посвятить им всю жизнь тоже не желаю по той простой причине, что мои духовные запросы гораздо шире.

Иногда я задаю себе вопрос: уж не обманываемся ли мы, Плошовские, не слишком ли мы высокого мнения о своих способностях? Но если бы это было так, то заблуждались бы только мы одни, а не люди чужие, беспристрастные. И наконец, отец мой действительно был и есть человек незаурядный, исключительно одаренный, а о себе я не стану распространяться, ибо это могло бы показаться глупым тщеславием. Все же я искренне убежден, что мог бы стать чем-то неизмеримо большим, чем стал.

Взять хотя бы Снятынского, с которым мы вместе учились в Варшавском университете (отец и тетюшка пожелали, чтобы университет я окончил на родине). Оба мы считали литературу своим призванием и пробовали силы на этом поприще. Не говоря уже о том, что меня считали способнее Снятынского, – ей-богу, все, что я тогда писал, было гораздо лучше и больше обещало в будущем, чем то, что писал Снятынский. И что же? Снятынский достиг сравнительно многого, я же остался тем же «многообещающим» паном Плошовским, о котором люди, покачивая головами, твердят: «Эх, если бы только он за что-нибудь взялся!»

Люди не принимают во внимание того, что не всякий способен сильно хотеть. Я часто думаю: не будь у меня никакого состояния, я был бы вынужден чем-нибудь заняться ради куска хлеба. Тем не менее остаюсь при глубоком внутреннем убеждении, что даже тогда я не использовал бы и двадцатой доли своих способностей. Но в чем же дело? Ведь вот Дарвин и Бокль были богатые люди, сэр Джон Леббок – банкир, большинство знаменитых людей Франции купаются в деньгах. Выходит, что богатство не только не мешает, но помогает человеку выдвинуться на любом поприще. Я даже склонен думать, что мне лично оно оказало большую услугу: уберегло характер от всяких вывихов, которыми грозила бы ему бедность. (Я этим вовсе не хочу сказать, что характер у меня слабый и, кроме того, борьба могла бы даже его

закалить. Но, как бы то ни было, чем меньше встречаешь на дороге камней, тем меньше рискуешь споткнуться или упасть.)

И не лень виновата в том, что из меня ничего не вышло. Моя способность легко все усваивать равна моей любознательности. Я много читаю и много знаю. Быть может, я спасовал бы там, где нужны железные стойкость и терпение, длительная, кропотливая и серьезная работа, но ведь легкость, с какой мне все дается, могла бы возместить это. И, наконец, никто меня не обязывает составлять словари, как Литтре. Когда не можешь светить с постоянством солнца, так можешь, по крайней мере, блеснуть на миг, как метеор, а это бездействие в прошлом и, по всей вероятности, в будущем!.. Мысль о нем вызывает у меня душевную оскормину, начинает одолевать тоска, поэтому сегодня писать больше не буду.

Рим, 10 января

Вчера на вечере у князя Малатеста я случайно услышал выражение «l'improductivité slave»⁷ и вздохнул с облегчением, как те люди с больными нервами, которые, узнав от врача, что болезнь их известна и ею страдают многие, находят в этом утешение. Правда, правда, много у меня товарищей по несчастью! Не знаю, во всех ли славянских странах, я там не бывал, но сколько их у нас в Польше! Всю ночь я думал об этой «improductivité slave». Автор этой формулировки – человек неглупый. Да, есть в нас что-то такое, – неспособность проявить в жизни все то, что в нас заложено. Можно сказать, бог дал нам лук и стрелы, но лишил способности натягивать тетиву и пускать стрелы. Я охотно потолковал бы об этом с отцом – тем более что он любит такие беседы, – но боюсь разбередить его раны. Зато уж дневник мой, конечно, будет полон рассуждений на эту тему. И может, это хорошо – может, в этом будет его главное достоинство. Разумеется, я хочу писать о том, что более всего меня волнует, это вполне естественно. Каждый человек таит в себе какую-то свою трагедию. И моя трагедия – в фамильной improductivité Плошовских. В наше время не принято выдавать такие тайны. Еще недавно, когда романтизм пышно цвел и в поэзии, и в сердцах, человек драпировался в свою трагедию, как в эффектно накинутый плащ, а теперь он носит ее, как егерскую фуфайку, под рубашкой. Но дневник – дело другое: в дневнике и можно и должно быть откровенным.

Рим, 11 января

Я пробуду здесь еще несколько дней и хочу воспользоваться ими для того, чтобы на страницах дневника обозреть прошлое и покончить с этим раз навсегда, прежде чем перейду к записыванию событий изо дня в день. Я уже говорил, что вовсе не собираюсь писать подробную автобиографию. Будущее в достаточной степени покажет, что я за человек. А кропотливо разбираться в прошлом противно моей натуре. Это занятие столь же докучливое, как арифметическое сложение: пишешь цифры одну под другой, потом проводишь черту и складываешь их. Всю жизнь я воевал с четырьмя правилами арифметики, а больше всего терпеть не мог сложение.

Однако надо же иметь некоторое, хотя бы самое общее представление о сумме всех слаженных, то есть стать самому себе более понятным. Поэтому я продолжаю.

После университета я окончил еще сельскохозяйственную школу во Франции; агрономия давалась мне легко, но особого влечения к ней я не чувствовал. Я снизошел до нее, зная, что в будущем мне, несомненно, придется заниматься сельским хозяйством, но считал, что такие занятия никак не соответствуют моим способностям и духовным запросам. Однако учение в институте принесло мне двойную пользу. Во-первых, сельское хозяйство больше не будет для меня китайской грамотой и никакой управляющий меня не проведет. Во-вторых, благодаря

⁷ «славянское бесплодие, пассивность» (фр.).

практике в поле, на открытом воздухе, я накопил немалый запас здоровья и сил, благодаря чему довольно успешно выдерживал впоследствии тот образ жизни, какой вел в Париже.

По окончании института я жил то в Риме, то в Париже, если не считать поездок ненадолго в Варшаву, куда меня время от времени вызывала тетушка, то ли стосковавшись по мне, то ли надеясь женить меня на какой-нибудь вертушке, которая пришлась ей по нраву. Париж и парижская жизнь нравились мне безмерно. В те годы я был о себе высокого мнения, верил в свой ум больше, чем теперь, и отличался той самонадеянностью, какую дает независимое положение. Однако некоторое время я вел себя на арене большого света как наивный новичок. Начал с того, что безумно влюбился в мадемуазель Ришемберг, актрису театра *Comedie Francaise*, и непременно хотел на ней жениться. Не буду описывать всех трагикомических перипетий – вспоминать эту историю мне теперь немного стыдно, а подчас и смешно. Позднее меня еще не раз оставляли в дураках, не раз мне случалось принимать фальшивую монету за настоящую. Француженки (да, впрочем, и польки тоже) – хотя бы принадлежали к самому лучшему обществу и при этом были добродетельны, – пока молоды, напоминают мне фехтовальщика на шпагах: ему необходимо ежедневно практиковаться, чтобы не утратить приобретенной ловкости, и они тоже фехтуют чувствами просто для тренировки. Так как я был человек молодой, из высшего круга и не урод, меня частенько приглашали для таких упражнений, а я по наивности принимал это фехтование всерьез, и потому мне не раз крепко доставалось. Правда, раны были не смертельные, но довольно болезненные. Впрочем, я убежден, что в таком обществе и в такой жизни, как наша, каждый неизбежно отдает дань наивности. Мои испытания продолжались сравнительно недолго. Затем наступил период «реванша». Я отплачивал за себя, и если меня иногда еще обманывали, то лишь потому, что я хотел быть обманутым.

Так как передо мной были открыты все двери, я имел возможность ознакомиться с различными кругами общества, начиная с легитимистов (в их домах я всегда скучал) и кончая новоиспеченной и пышно титулованной аристократией, созданной Бонапартами и Орлеанской династией и составляющей «высший свет» если и не Парижа, то хотя бы Ниццы. Дюма-сын, Сарду и другие берут своих героев, графов, маркграфов и князей именно из этого круга, где люди, у которых нет великих исторических традиций, но титулов и денег хоть отбавляй, заняты только погоней за наслаждениями. К этому кругу принадлежат и крупные финансисты. В таком обществе я бывал главным образом ради женщин, которых там встречал. У женщин этого круга утонченные нервы, они жаждут впечатлений и наслаждений и, в сущности, не имеют никаких идеалов. Среди них часто встречаются развратницы, столь же безнравственные, как романы, которыми они зачитываются, ибо нравственность здесь не имеет опоры ни в религии, ни в обязывающих традициях. При все том это общество весьма блестящее. «Часы фехтования» в нем долги, продолжаются целые дни и ночи и бывают опасны, ибо тут не в обычае надевать колпачки на острия рапир. Я и здесь получал весьма жестокие уроки, пока сам достаточно не натренировался. Распространяться о своих успехах было бы доказательством пустого тщеславия, а главное – дурного вкуса. Скажу только, что старался как мог поддержать традиции отцовской молодости.

Низшие слои этого общества соприкасаются в какой-то мере с наивысшими кругами полусвета, а полусвет опаснее, чем это кажется на первый взгляд, – ибо он ничуть не стандартен. Его цинизм скрыт под маской «артистичности». И если меня там не слишком ощипали, то только потому, что я пришел туда уже с довольно хорошо отточенными клювом и когтями.

Вообще о парижской жизни можно сказать, что каждый, кто вырвется из этой мельницы, чувствует себя несколько усталым, особенно если, как я, оставляет ее лишь на время и возвращается обратно. Только позднее начинаешь понимать, что твои успехи – это пирровы победы. Мой крепкий от природы организм довольно сносно выдерживал такую жизнь, но нервы истрепались.

Зато Париж, во всяком случае, имеет одно преимущество перед всеми другими центрами культурной жизни. Я не знаю другого города в мире, где зачатки науки, искусства, всяких общечеловеческих идей до такой степени носились бы в воздухе и впитывались в умы, как в Париже. Здесь не только усваиваешь безотчетно все, что есть нового в умственной жизни человечества, но и обретаешь многогранность, становишься интеллигентнее и культурнее. Да, повторяю – культурнее. Ибо в Италии, Германии и Польше я встречал людей большого ума, не желавших, однако, допускать, что может существовать что-либо за пределами их влияния; людей, столь варварски замкнувшихся в своей скорлупе, что для тех, кто не хочет отказываться от своего собственного мировоззрения, общение с ними попросту невозможно.

Во Франции же, точнее говоря – в Париже, ничего подобного не встретишь. Как быстрый поток обтачивает камни, заставляя их тереться друг о друга, так здесь течение жизни шлифует ум людей, делает их свободомыслящими. Естественно, что под таким влиянием и мой кругозор стал кругозором просвещенного человека. Я многое могу понять, не поднимаю крик, как самонадеянный павлин, когда слышу что-либо противоречащее моим взглядам или совершенно новое для меня. Быть может, такая широкая терпимость приводит к некоторому безразличию и лишает воли к действию, но мне себя уже не переделать.

Умственные течения моего времени увлекали меня. Светская жизнь, салоны, будуары, клубы отнимали много времени, но не поглощали меня целиком. Я завел многочисленные знакомства в мире науки и искусства и жил жизнью этого мира, живу ею до сих пор. Из врожденной любознательности я очень много читал, и так как я легко усваиваю прочитанное, то, смею сказать, значительно пополнил свое образование, иду более или менее в ногу с умственным прогрессом своего века.

Я – человек, досконально познавший самого себя. Иногда я мысленно посылаю к черту свое второе «я», которое вечно наблюдает, критикует меня, не дает отдалиться целиком никакому впечатлению, никакому действию или чувству, никакому наслаждению, никакой страсти. Быть может, самопознание – признак высшего умственного развития, но оно вместе с тем сильно ослабляет восприимчивость. Заниматься всегда бдительной самокритикой – это значит выключить из внутренней жизни какую-то часть души и мозга, которая этим занята, – следовательно, жить не всем существом, а только другой его частью.

Это так же мучительно, как для птицы – летать на одном крыле. Кроме того, чересчур усиленное познание самого себя лишает человека способности действовать. Если бы не это, Гамлет сразу в первом же акте трагедии проткнул бы шпагой своего дядю и преспокойно унаследовал бы королевский престол.

Мое самопознание хотя порой и служит мне защитой, удерживая от какого-нибудь необдуманного шага, но в гораздо большей степени докучает мне, не давая сосредоточиться и всецело отдалиться одному делу. Во мне словно сидят два человека – один вечно все взвешивает и критикует, другой живет как бы только наполовину и теряет всякую решительность. Меня гнетет мысль, что я уже не освобожусь никогда от этого ярма, – ведь, несомненно, чем шире будет становиться мой кругозор, тем углубленнее самоизучение, и даже в свой смертный час я не перестану критиковать умирающего Леона Плошовского, если только горячка не помутит моего сознания.

Должно быть, я унаследовал от отца синтетический ум: я всегда стремлюсь обобщать явления, и ни одна наука не увлекала меня так, как философия. Однако во времена наших отцов философия была всеобъемлюща – сферой своей она считала не более не менее как всю вселенную и всеобщее бытие, а потому у нее имелся готовый ответ на любые вопросы. Ныне она образумилась. Признав, что философии всеобъемлющей не существует, она стала философией отдельных отраслей знания. Право, думая об этом, хочется сказать, что и человеческий разум пережил трагедию, и началась она именно с признания им своего бессилия. Поскольку дневник – дело личное, я буду говорить в нем о таких вещах только с моей личной точки зре-

ния. Я не считаю философию своей специальностью, – как уже сказано, я человек без всякой специальности. Но, как все мыслящие люди, я интересуюсь новейшим течением в философии, я – под его влиянием и имею полное право говорить о том, что влияло на формирование моей души и ума.

Прежде всего должен отметить, что религиозные верования, вынесенные мною нетронуемыми из коллегии в Метце, не устояли, когда я стал читать книги по философии естествознания. Но из этого вовсе не следует, что я стал атеистом. О нет! Это было хорошо в былые времена, – тогда, если кто не признавал «духа», он мог признавать власть материи и на этом успокаивался, а ныне только доморощенные философы занимают такую отсталую позицию. Ныне философия таких вопросов не предрешает, она отвечает на них «не знаю». И это свое «не знаю» усиленно внушает нам. Современная же психология занимается весьма точным анализом различных психологических явлений, а на вопрос о бессмертии души также отвечает «не знаю». И она действительно этого не знает, да и знать не может.

Теперь мне будет легче охарактеризовать состояние моего сознания. «Не знаю, не знаю, не знаю!» – вот чем оно исчерпывается. Это осознанное бессилие человеческого разума – подлинная трагедия. Не говоря уже о том, что человеческая душа всегда будет вопить, требуя ответа на волнующие ее вопросы, – ведь это же вопросы величайшей важности, реальнейшего значения для человека. Если на том свете есть что-то и нас ждет там вечность, то несчастья и утраты в земной жизни – ничто и о них можно было бы сказать словами Гамлета: «Черт с ним, с трауром, надену соболью мантию». «Я согласен умереть, – говорит Ренан, – если буду знать, на что нужна человеку смерть». А философия отвечает: «*Не знаю*».

Человек мечется в этой страшной неизвестности, чувствуя, что, если бы мог уверовать во что-то одно, ему было бы легче и спокойнее. Но как же быть? Винить философию в том, что она не создает больше тех теорий, которые каждый день рассыпались подобно карточным домикам, а признала свое бессилие и занялась изучением и систематизацией явлений в границах, доступных человеческому уму? Нет! Но думается все-таки, что я и всякий другой человек вправе сказать ей: «Я восхищаюсь твоей трезвостью, преклоняюсь перед точностью твоих анализов, но при всем том ты сделала меня несчастным. Ты сама признаешь, что не в силах ответить на вопросы первостепенной для меня важности. Однако у тебя хватило силы подорвать мою веру, которая на эти вопросы давала мне ответ не только твердый, но и полный отрады и утешения. Не говори, что ты, ничего не утверждая, тем самым позволяешь мне верить во что угодно. Неправда! Твои методы, твой дух, самая сущность твоя, все это – сомнения и критика. Твой научный метод – скептицизм и критику – ты так успешно привила моей душе, что они стали моей второй натурой. Словно каленым железом, выжгла ты во мне все те фибры души, которыми люди веруют просто и бесхитростно, так что сейчас, если бы я и хотел веровать, мне больше веровать *ничем*. Ты не запрещаешь мне ходить в церковь, если хочется, но отравила меня скептицизмом настолько, что теперь я скептически отношусь даже к тебе, даже к собственному неверию, и не знаю, не знаю, ничего не знаю, и мучаюсь, и бешусь в этой тьме!..»

Рим, 12 января

Вчера я писал с некоторой запальчивостью, но объясняется это, вероятно, тем, что пришлось коснуться язв и моей собственной, и вообще человеческой души. Бывают в моей жизни периоды равнодушия к этим вопросам, но по временам они меня мучают немилосердно, тем более что их таишь в себе от всех. Лучше было бы, пожалуй, о них не думать, но это невозможно – слишком они важны. В конце концов, человек хочет знать, что его ожидает и как ему прожить свою жизнь! Правда, я не раз пробовал убеждать себя: «Довольно! Из этого заколдованного круга не выйдешь, так нечего и входить в него!» У меня есть все для того, чтобы стать сытым и веселым животным, – но не всегда я могу этим удовлетворяться. Говорят, у славян природная склонность к мистицизму, интерес к потустороннему миру. Я заметил, например,

что все наши великие писатели в конце концов впадали в мистицизм. Что же удивительного в том, что мучаются и обыкновенные люди? Я не мог не написать об этой внутренней тревоге: хочу дать ясную картину состояния своей души. К тому же человек по временам испытывает потребность оправдаться перед самим собой. Вот, например, я, нося в душе вечное «не знаю», соблюдаю, однако, предписания религии и все же не считаю себя человеком неискренним. Моя религиозность была бы лицемерием лишь в том случае, если бы я вместо «не знаю» мог сказать: «Знаю, что ничего этого нет». А наш современный скептицизм не есть прямое отрицание: нет, это скорее болезненно-мучительное подозрение, что, может быть, ничего нет. Это – густой туман, который царит у нас в мозгу, давит грудь, заслоняет нам свет. И я простираю руки к солнцу, которое, быть может, сияет за этой завесой тумана. И думаю, что в таком положении нахожусь не я один и что молитвы многих, очень многих из тех, кто ходит по воскресеньям к обедне, сводятся к трем словам: «Боже, рассея тьму!»

Я не могу хладнокровно писать о таких вещах. Предписания религии я соблюдаю еще и потому, что жажду веры. Ибо я воспитан в отрадном убеждении, что непременно следствие веры – благодать Божья, и вот я жду этой благодати. Жду, чтобы мне было ниспослано свыше такое состояние души, при котором я мог бы веровать глубоко, без тени сомнений, как веровал ребенком. Таковы мои высшие стремления – в них нет ни капли своекорыстия, ибо гораздо выгоднее быть только сытым и веселым животным.

А захоти я объяснить свою внешнюю религиозность менее высокими и более практическими мотивами, их у меня найдется множество. Во-первых, выполнение некоторых обрядов с детства стало для меня почти неистребимой привычкой. Во-вторых, подобно Генриху Четвертому, который говорил, что «Париж стоит мессы», я говорю себе: «Спокойствие моих близких стоит мессы». Люди нашего круга соблюдают предписания религии, и моя совесть стала бы против этого восставать лишь в том случае, если бы я мог сказать себе нечто более положительное, чем «не знаю». Наконец, я хожу в костел еще и потому, что я скептик в квадрате, то есть скептически отношусь даже к собственному неверию.

И оттого мне тяжело. Душа моя влачит одно крыло по земле. Но было бы еще хуже, если бы я эти вопросы всегда принимал так близко к сердцу, как сейчас, когда писал эти две странички дневника. К счастью, это не так. Как я уже говорил, у меня бывают периоды равнодушия к «проклятым вопросам», а порой жизнь заключает меня в объятия, и, хотя я знаю, чего стоят ее прелести, я отдаюсь ей весь, тогда гамлетовское «быть или не быть?» теряет для меня всякое значение. И вот удивительное явление, над которым люди еще мало задумываются: огромную роль играет при этом влияние окружающей атмосферы. В Париже, например, я гораздо спокойнее – не только потому, что меня оглушает шум этого водоворота, что я киплю в нем вместе с другими, что сердце мое и ум заняты «фехтованием», а потому, что там люди (быть может, безотчетно) живут так, как будто все они глубоко уверены, что в жизнь эту надо вложить все свои силы, ибо после нее не будет ничего, только химическое разложение. В Париже пульс мой начинает биться в унисон с общим пульсом, и я настраиваюсь соответственно окружающему меня настроению. Веселюсь я или скучаю, одерживаю победы или терплю поражения – душа моя относительно покойна.

Рим, Бабуино, 13 января

До отъезда осталось только каких-нибудь четыре дня, а я хочу еще подытожить все то, что говорил о себе. Итак, я – человек несколько утомленный жизнью, крайне впечатлительный и нервный. Я довел до высокой степени свою способность самопознания, чему помогает сравнительно широкое образование, и в общем могу считать себя человеком умственно развитым.

Скептицизм мой – так сказать, скептицизм в квадрате – исключает наличие всяких непоколебимых убеждений. Я созерцаю, наблюдаю, критикую, и временами мне кажется, что улавливаю суть вещей; однако я всегда готов и в этом усомниться. Об отношении моем к религии я

уже говорил. Что же касается политических убеждений, я – консерватор постольку, поскольку в моем положении быть им обязан, и к тому же консерватизм в известной степени отвечает моим вкусам и склонностям. Не приходится объяснять, как я далек от возведения консерватизма в непогрешимый догмат, не подлежащий критике. Я – человек слишком просвещенный, чтобы стать безоговорочно на сторону аристократии или демократии. Такие вещи занимают уже только нашу мелкопоместную шляхту или людей в тех далеких странах, куда идеи доходят, как и моды, с опозданием лет на двадцать. С тех пор как нет более привилегий, вопрос, по-моему, исчерпан; там же, где он еще существует вследствие отсталости общества, это уже вопрос не принципов, а пустого тщеславия и нервов. О себе скажу одно – я люблю людей развитых, с утонченной восприимчивостью, а ищу их там, где мне их легче найти.

Я люблю их так же, как люблю произведения искусства, красоты природы и прелестных женщин. Я, пожалуй, даже чересчур тонко чувствую красоту. Виною этому и врожденная впечатлительность, и полученное мною воспитание. Эта эстетическая восприимчивость приносит мне столько же радостей, сколько огорчений. Но она оказывала и оказывает мне одну большую услугу: спасает от цинизма, а значит – от окончательного развращения, и в известной мере заменяет мне нравственные устои. Многого я не мог бы делать не столько потому, что это дурно, сколько потому, что это некрасиво. Моя чувствительность к красоте – источник также и тонкости чувств. В общем, я, как мне кажется, человек хотя и немного испорченный, но, во всяком случае, порядочный, однако, если говорить честно, вишу в воздухе, не опираясь ни на какие догматы, ни религиозные, ни общественно-политические. Нет у меня и цели, которой я мог бы посвятить жизнь.

В заключение еще несколько слов о моих способностях. Отец, тетушка, мои товарищи, а подчас и люди посторонние считают их попросту выдающимися. Допускаю, что ум мой не лишен блеска. Но как же «l'improductivité slave»? Не развеет ли эта «славянская пассивность» возлагаемых на меня надежд? Учитывая то, что я до сих пор сделал, – вернее, то, что я до сих пор ничего не сделал не только для других, но даже для себя, – надо думать, что надежды эти не сбудутся.

Такое сознание стоило мне дороже, чем это может показаться. Ирония, с которой я отношусь к себе, имеет сильный привкус горечи. Видно, бесплодна та глина, из которой бог сотворил Плошовских: на ней все так легко и пышно всходит, но не дает зерна. Если бы при таком бесплодии и отсутствии действенной силы я обладал даже гениальными способностями, все равно из меня вышел бы лишь своеобразный тип «гения без портфеля», как бывают министры без портфеля.

Это определение «гений без портфеля», по-моему, довольно точно передает суть дела. Я мог бы взять патент на свое изобретение. Тут я утешаюсь все тем же: ведь не я один, ей-богу, не один я заслуживаю этого названия! Имя нам легион! «L'improductivité slave» существует сама по себе, а «гений без портфеля» – сам по себе, он – продукт исключительно наш, польский, с берегов Вислы. Я не знаю ни одного уголка земли, где пропало бы напрасно столько блестящих дарований и где даже те, кто дает кое-что миру, дают так мало, такую ничтожную малость по сравнению с тем, чем наградил их господь!

Рим, Бабуино, 11 января

Второе письмо от тетушки. Настаивает, чтобы я поскорее приезжал. Еду, дорогая тетя, еду – и видит бог, только из любви к тебе, иначе предпочел бы остаться здесь. Отец нездоров, у него по временам немеет вся левая половина тела. Уступая моим просьбам, он вызвал врача, но я уверен, что прописанные ему лекарства он, по своему обыкновению, запрет в шкаф – и только. Так он поступает уже много лет. Как-то раз он открыл шкаф и, указывая на целую батарею склянок, бутылок, банок, баночек, коробочек, сказал мне: «Помилуй, если бы все это проглотить и выпить, то самый крепкий, здоровый человек не выдержал бы, а что уж говорить

о больном». До сих пор такое отношение отца к медицине не имело особенно дурных последствий, но меня тревожит будущее.

Второе, из-за чего мне не хочется ехать в Польшу, – замыслы тетушки. Ясно, что она хочет меня женить. Не знаю, есть ли у нее уже кто на примете, – и дай бог, чтобы не было! – но намерений своих она вовсе не скрывает. «Легко предугадать, что из-за такого жениха, как ты, сразу же вспыхнет Война Алой и Белой розы», – пишет она. Но я устал, не хочу быть причиной какой бы то ни было войны, а главное – не хотел бы, как некогда Генрих VII, женитьбой положить конец Войне Роз. Есть еще кое-что, чего я тете, разумеется, сказать не могу, но от самого себя не скрываю: я не люблю полек. Мне тридцать пять лет, и у меня, как у всякого пожившего человека, были в прошлом разные любовные истории. Сходился я и с польками и из всех этих встреч и связей вынес впечатление, что польки – настоящие мучительницы, самые несносные женщины на свете. Может, они и добродетельнее француженок или итальянок, не знаю; одно только знаю – что они гораздо охотнее пускают в ход патетику. Меня бросает в дрожь, как подумаю об этом. Я понимаю элегию над разбитым кувшином, когда в первый раз увидишь у ног своих его черепки. Но декламировать эту элегию с тем же пафосом над кувшином, который много раз уже разбивался и потом скреплялся проволокой, – это, право же, смахивает на оперетку. Хороша роль «растроганного слушателя», который приличия ради вынужден принимать это всерьез!

Странные, непостижимые женщины, женщины с пылким воображением и рыбьей кровью! В любви их нет ни радости, ни простоты. Они увлекаются внешними формами чувства, мало интересуясь его внутренним содержанием. Поэтому никогда невозможно предвидеть, как полька поведет себя. Имея дело с француженкой или итальянкой, ты, если твои предпосылки логичны, можешь более или менее уверенно предсказать следствие. С полькой – никогда! Кто-то сказал: иногда мужчина, ошибаясь, утверждает, что дважды два – пять, и его можно поправить. Женщина же будет утверждать, что дважды два – лампа, и тогда хоть головой об стену бейся! Так вот по логике полек иногда выходит, что дважды два – не четыре, а лампа, любовь, ненависть, кот, слезы, долг, воробей, презрение... Словом, тут ничего невозможно предвидеть и рассчитать, и ты ни от чего не застрахован. Быть может, благодаря этим волчьим ямам добродетель полек в большей безопасности, чем добродетель других женщин, – уже хотя бы потому, что осаждающих скоро одолевает скука смертная. Но вот что я заметил и вот чего не могу простить нашим польским дамам: их капканы, западни, ограды, их отчаянная самозащита – все это пускается в ход не для решительного отпора противнику, а ради сильных ощущений, которые дает борьба.

Однажды я заговорил об этом (разумеется, усиленно стараясь позолотить пилюлю) с одной умной женщиной, полькой только наполовину, так как отец ее – итальянец. Выслушав меня, она сказала:

– У вас на этот счет такая же точка зрения, как у лисы на голубятне. Лисе не нравится, что голуби живут так высоко и летают выше кур. Вас сердит это самое. А ведь все, что вы говорили, – скорее похвала полькам.

– Как так?

– Очень просто: чем несноснее для вас полька, когда она – чужая жена, тем желательнее она в качестве вашей собственной.

Меня, как говорится, приперли к стене, и я ничего не мог возразить. Притом, может быть, я и вправду немного напоминаю лисицу у голубятни. И несомненно одно: если бы я вздумал жениться, а в частности – жениться на польке, я искал бы эту польку среди голубей, летающих высоко, и более того – среди белых голубей.

Впрочем, я вполне согласен с той рыбой, которая на вопрос, под каким соусом она хочет быть приготовлена, отвечает, что прежде всего она вообще не хочет быть съедена. И тут я снова возвращаюсь к упрекам вам, милые соотечественницы. Вам драма в любви милее, чем

сама любовь. В каждой из вас сидит королева, и этим вы резко отличаетесь от других женщин; каждая из вас полагает, что, позволив себя любить, она уже этим одним оказывает великую милость и благодеяние, ни одна не согласится заполнить собой только часть жизни мужчины, а ведь перед ним стоят и другие цели. Вы хотите, чтобы мы существовали для вас, а не вы – для нас. Наконец, детей своих вы любите больше, чем мужа. Удел его – удел сателлита, я это замечал не раз. Да, все вы таковы. Только иногда попадаются исключения, как алмазы, сверкающие среди простого песка. Нет, мои королевы, позвольте мне поклоняться вам издали.

Раз навсегда отодвинуть на второй план все цели, все идеалы, чтобы изо дня в день кадить пред алтарем женщины – и притом собственной жены! Ну, нет, сударыни, это маловато для мужчины!

Правда, голос трезвой самокритики тут же меня вопрошает: «А, собственно, что ты можешь делать лучшего? Есть у тебя какие-нибудь планы, цели в жизни? Если кто создан для того, чтобы стать жертвенным агнцем на чьем-нибудь алтаре, – так это ты».

Нет, черт возьми! Жениться – значит переменить образ жизни, отказаться от своих привычек, удобств, склонностей, вкусов, и вознаградить за это могла бы разве только любовь подлинно великая. А со мной так не будет. Для женитьбы нужны безграничная вера в женщину и сильная воля, а у меня ни того, ни другого. Повторяю: «Не хочу я, чтобы меня съели под каким бы то ни было соусом».

Варшава, 21 января

Я приехал только сегодня утром. По дороге сделал остановку в Вене, так что дорога меня не очень утомила. Уже поздно, но нервы расходились и не дают мне уснуть. Поэтому принимаюсь за дневник. А ведь занятие это действительно вошло у меня в привычку и доставляет мне некоторое удовольствие.

Как обрадовались мне дома! И какая славная женщина моя тетушка! От радости она за обедом ничего не ела, а теперь, наверное, не спит, как и я. В Плошове она постоянно ссорится со своим управляющим, паном Хвастовским, весьма строптивым шляхтичем, который ей спуску не дает и огрызается на каждое замечание. Но когда их спор обостряется настолько, что разрыв кажется неизбежным, тетушка умолкает и начинает есть с большим аппетитом, даже с каким-то ожесточением. Сегодня ей пришлось удовольствоваться только тем, что она бранила прислугу, а этого ей мало. Все-таки она весь день пребывала в чудесном настроении, и во взглядах, которые она все время бросала на меня из-под очков, было столько безграничной нежности, что просто описать невозможно. Все знакомые твердят, что я ее кумир, и тетушку это очень сердит.

Конечно, мои предположения и опасения были справедливы. Здесь не только замышляют меня женить, но уже кого-то для меня присмотрели. Тетя имеет привычку после обеда ходить большими шагами из угла в угол и думать вслух. Таким образом, как ни старалась она сохранить все в тайне, я услышал следующий монолог:

– Молод, красив, богат, гениален – дура она будет, если не влюбится в него с первого взгляда!

Завтра едем на праздник, который молодежь устраивает для дам. Уверяют, что будет очень весело.

Варшава, 25 января

Как homo sapiens⁸, я часто на балах скучаю, а как всякий кандидат в мужья, их не выношу, но иногда наслаждаюсь ими, как художник, – разумеется, художник без портфеля. До чего же красива, например, широкая, ярко освещенная и убранная цветами лестница, по которой

⁸ человек разумный (лат.).

поднимаются дамы в бальных нарядах! Все они в это время кажутся очень высокими, а когда смотришь снизу, как они идут, волоча за собой по ступеням длинные шлейфы, приходят на память ангелы, которых видел во сне Иаков. Люблю оживление балов, залитые огнями залы, цветы, легкие ткани, светлой дымкой облакающие молодых девушек. А как хороши обнаженные шеи, груди и плечи, когда, освобожденные от накидок, они как будто застывают и кажутся мраморными. Здесь все тешит не только глаз, но и обоняние: я обожаю хорошие духи.

Праздник удался на славу. Надо отдать справедливость Сташевскому – он умеет устраивать такие развлечения. Я приехал с тетушкой, но в вестибюле нас тотчас разлучили – Сташевский сошел с лестницы специально для того, чтобы предложить ей руку и повести наверх. Моя старушка во всех торжественных случаях неизменно появляется в длинной горностаевой накидке, которую все знакомые шуточно называют «заслуженная пелерина».

Войдя в зал, я остановился неподалеку от двери, чтобы осмотреться. А странное испытываешь чувство, когда после многолетнего отсутствия вдруг очутишься среди земляков! Я тогда остро сознаю, что они мне ближе всех, кого я встречал на чужбине, но в то же время пытливо в них всматриваюсь, наблюдаю их со стороны, как иностранец. В особенности интересно мне наблюдать женщин.

Что ни говори, общество у нас в Польше блестящее. Я видел вокруг лица красивые и некрасивые, но на всех лежал отпечаток утонченной, создававшейся веками культуры. Шеи и плечи женщин напоминали севрский фарфор, и этому не мешала даже заметная у иных округлость форм. В них есть какое-то спокойное изящество и законченность очертаний. Какие ножки я видел, какие руки, какие линии головы! Право, здесь не подражают Европе, здесь – подлинная Европа.

Я простоял у дверей с четверть часа, размышляя так и пытаюсь угадать, какую из этих головок, какой из этих стройных станов тетушка предназначает для меня. Между тем приехали Снятынские. С ним я виделся в Риме несколько месяцев назад, с ней тоже знаком. Она мне очень нравится – у нее удивительно милое лицо, и она из тех редких в Польше женщин, которые не требуют, чтобы муж посвятил им всю жизнь, а отдают ему свою.

Через минуту к нам подошла какая-то молодая девица, поздоровалась со Снятынской, потом протянула мне ручку в белой перчатке и спросила:

– Не узнаешь меня, Леон?

Ее вопрос меня озадачил – в первую минуту я действительно не мог припомнить, кто она. Тем не менее я, не желая показаться неучтивым, потряс ей руку, закивал головой и с улыбкой пробормотал: «А как же! Как же! Конечно, узнаю». Должно быть, у меня при этом был довольно глупый вид, так как Снятынская рассмеялась и сказала:

– Да вы ее и впрямь не узнаете! Ведь это Анелька П.

Анелька! Моя двоюродная сестра! Неудивительно, что я ее не узнал! В последний раз я видел ее лет десять-одиннадцать назад, когда она еще ходила в платьицах до колен. Помню один день в плошовском саду. На Анельке были розовые носочки, комары жестоко кусали ей ноги, и она топала ими, как лошадка. Как же я мог сейчас догадаться, что эта грудь, украшенная фиалками, эти белые плечи и прелестное лицо с темными глазами – словом, эта девушка в полном расцвете молодости – та самая птичка-невеличка на тонких ножках! Ах, какая же она стала красивая! Какая бабочка вышла из той личинки! Я поспешил поздороваться с Анелькой вторично, и теперь уже с величайшей сердечностью. Когда Снятынские отошли, она сказала мне, что ее послали за мной ее мать и тетя. Я взял ее под руку, и мы пошли в глубь зала.

Вдруг меня словно осенило: да ведь это, наверное, Анельку тетушка прочит мне в жены! Вот и весь секрет, вот какой мне приготовлен сюрприз! Тетушка всегда очень любила эту девочку и принимала близко к сердцу материальные затруднения ее матери, пани П. Одно меня удивляло: почему мать и дочь, приехав в Варшаву, не остановились в доме тетушки? Но я не стал над этим раздумывать – мне хотелось присмотреться к Анельке. Естественно, сей-

час она меня уже интересовала больше, чем всякая другая. У меня было достаточно времени и для разговора, и для этого «экзамена», пока мы шли в другой конец зала, так как толчея вокруг мешала идти быстро. Теперь в моде перчатки средней длины, не доходящие до локтя, и я прежде всего заметил, что обнаженная рука Анельки, опирающаяся на мою, покрыта пушком, довольно густым, который придает коже темноватый тон. А между тем Анелька не брюнетка, хотя на первый взгляд может показаться брюнеткой. Волосы у нее отливают бронзой, глаза светлые и только кажутся черными из-за очень длинных ресниц, а брови действительно черные и очень красивые. Характерная особенность ее головки с невысоким лбом – именно эта пышность волос, густота бровей, ресниц и пушка на щеках, нежного, как шелк, и совсем светлого. Все это вместе может с годами несколько испортить ее красоту, но сейчас, когда Анелька так молода, это только признак щедрого избытка жизненных сил и делает ее не холодной куклой, а живой, пылкой и очаровательной девушкой.

Я разборчив, избалован, и нервы мои отзываются далеко не на всякие впечатления, а тут, не скрою, красота Анельки сразу сильно на меня подействовала. Это мой любимый тип. Тетушка если и слышала о Дарвине, то, наверное, считает его «еретиком» и «путаником», – а между тем она безотчетно руководится его теорией естественного отбора. Да, Анелька в моем вкусе! На этот раз на крючок насажена нешуточная приманка.

Словно электрический ток перебежал из ее руки в мою. Я видел к тому же, что и я произвел на нее выгодное впечатление, а это всегда ободряет человека. Экзамен, которому я ее подверг как художник, тоже меня удовлетворил. Есть лица, в которых словно запечатлена музыка или поэзия. Такое именно лицо у Анельки. В ней нет ничего шаблонного.

Девушкам из дворянских семей у нас воспитанием прививают скромность, как детям прививают оспу. И в Анельке заметна такая скромность, невинность, но за этой невинностью чувствуется пылкий темперамент. Что за сочетание! Это все равно что сказать «невинный бесенок».

Возможно, впрочем, что при всей своей чистоте Анелька немного кокетка: я уже заметил, что она сознает силу своих чар. Так, например, зная, что у нее очень красивые ресницы, она то и дело без всякой надобности опускает и поднимает их. Еще у нее премилая манера откидывать голову, когда она смотрит на кого-нибудь. В начале нашего разговора она робела и потому держала себя немного натянуто, но через минуту-другую мы уже болтали так непринужденно, как будто и не расставались со времени наших встреч в Плошове.

Тетушкины размышления вслух великолепны, – но быть с нею в заговоре я бы не хотел. Едва мы с Анелькой подошли и я, поздоровавшись с пани П., обменялся с нею несколькими словами, как тетушка, заметив, что я оживлен и весел, вся просияла и, обратясь к матери Анельки, сказала громко:

– Как к ней идут фиалки! Пожалуй, мы удачно придумали, чтобы он увидел ее в первый раз на балу.

Мать Анельки ужасно смутилась, Анелька тоже, а я тут только понял, почему они остановились у тетушки. Наверно, так пожелала пани П. Должно быть, она и тетя уже давно обо всем договорились. Думаю, что Анельку в это не посвящали, но девушки в таких случаях бывают проницательны, и она могла сама обо всем догадаться.

Чтобы вывести всех из неловкого положения, я обратился к Анельке.

– Предупреждаю, – сказал я ей, – что танцую я плохо. Но все же обещаю тебе один вальс. На большее я не рассчитываю – тебя, наверное, то и дело будут похищать другие кавалеры.

Анелька вместо ответа протянула мне свой *carpet*⁹ и сказала решительно:

– Запиши что хочешь.

⁹ Книжечка, в которой дама на балу записывает, с кем обещала танцевать и какой танец (*фр.*).

Признаюсь, мне претит роль марионетки, которую дергают за веревочку. Не люблю, когда на меня наседают. И чтобы сразу активно вмешаться в политику двух старых дам, я взял книжечку Анельки и написал: «Ты поняла, что нас хотят поженить?»

Анелька прочла и переменилась в лице, чутьчку побледнела. С минуту она молчала, словно боясь, как бы голос ей не изменил, или не зная, что ответить. Наконец взметнула красивые ресницы и, глянув мне прямо в глаза, промолвила:

– Да.

Теперь наступил ее черед спрашивать – правда, спрашивала она не словами, а взглядом. Я, видимо, ей понравился, и к тому же если она догадывалась о планах матери и тетки, то мысли ее, наверно, были сильно заняты мною. И сейчас ее глаза ясно говорили:

«Знаю, что мама и тетя хотят, чтобы мы с тобой ближе узнали друг друга. А ты что об этом думаешь?..»

Но вместо ответа я обнял ее за талию, слегка привлек к себе и закружил в вальсе. Мне вспомнились «уроки фехтования».

Такого рода немой ответ мог внушить надежду девушке, особенно после того, что я написал ей в книжечку. Но я подумал: «А почему бы ей и не помечтать? Я, во всяком случае, не пойду дальше, чем захочу, а как далеко зайдет она – это меня еще мало интересует».

Танцует Анелька превосходно, и этот вальс она танцевала именно так, как женщина должна танцевать вальс, – самозабвенно покоряясь своему кавалеру. Я заметил, как дрожат фиалки на ее груди, – этого нельзя было объяснить темпом вальса, довольно-таки медленным. Мне стало ясно, что в ней что-то просыпается. Любовь – попросту физиологическая потребность. Хотя в девушках, принадлежащих к высшим слоям общества, эту потребность старательно подавляют, она непреодолима. И когда девушке говорят: «Этого тебе можно любить», часто бывает, что она спешит воспользоваться разрешением.

Анелька, видно, надеялась, что если я решился написать в ее записной книжке то, что написал, то после вальса, несомненно, заведу разговор на ту же тему. Но я нарочно отошел в сторону, оставив ее в ожидании.

К тому же мне хотелось присмотреться к ней издали. Да, положительно, это – мой тип. Такие женщины притягивают меня как магнит. Ах, если бы ей было лет тридцать и если бы она не была барышней, которую мне сватают!

Варшава, 30 января

Пани П. с дочерью перебрались к нам. Вчера я весь день провел с Анелькой. В душе ее больше страниц, чем обычно бывает у девушек ее возраста. Многие из этих страниц заполнит только будущее, но и сейчас уже заметно, что на них есть место для самых прекрасных вещей. Анеля чувствует и понимает все, и притом слушательница она несравненная, слушает сосредоточенно, не сводя с собеседника широко раскрытых, умных глаз. Уметь слушать – это лишний шанс понравиться мужчине, ибо такое внимание льстит его самолюбию. Не знаю, понимает ли это Анелька или ей это подсказывает лишь драгоценный женский инстинкт. А может быть, она столько наслышалась обо мне от тети, что каждое мое слово воспринимает как изречение оракула. Впрочем, она не лишена кокетства. Сегодня на мой вопрос, чего ей хочется более всего в жизни, она ответила: «Увидеть Рим» – и опустила свои бахромчатые ресницы. В эту минуту она была удивительно хороша. Она отлично понимает, что нравится мне, и радуется этому. А кокетство ее прелестно, потому что оно от переполненного счастьем сердца, которое жаждет полюбитья другому, избранному им сердцу. Нет ни малейшего сомнения, что эта душа летит ко мне, как мотылек на огонь. Бедная девочка, угадав согласие старших, воспользовалась им даже чересчур поспешно. Это с каждым часом становится заметнее.

Пожалуй, мне следовало бы спросить себя: если ты не намерен жениться, зачем же ты делаешь все, чтобы влюбить в себя девушку? Но мне не хочется отвечать на этот вопрос. У

меня сейчас так хорошо на душе, так покойно! И собственно говоря, что я такого делаю! Не стараюсь казаться глупее, неприятнее и грубее, чем в действительности, – вот и все.

Анелька вышла сегодня к утреннему кофе в какой-то широкой полосатой блузке, под которой ее формы только угадывались, но от одной этой догадки можно было потерять голову. Глаза у нее были немного заспанные, и чувствовалось еще в ней тепло постели... До чего же она мне нравится и волнует меня!

31 января

Тетя устраивает званый вечер для Анельки. Я делаю визиты. Навестил Снятынских и сидел у них долго – хорошо мне с ними. Снятынские постоянно ссорятся, но совсем не так, как другие супруги. Обычно ссоры у людей бывают из-за того, что на двоих есть только одно пальто и каждый тянет его к себе. А Снятынские спорят из-за того, что он хочет отдать все ей, а она – ему. Я их очень люблю, и только глядя на них я убеждаюсь, что счастье не выдумка романистов, что оно возможно и в жизни. Кроме того, Снятынский – человек острого ума, чуткий, как скрипка Страдивариуса, и умеет ценить свое счастье. Он его хотел – и добился. В этом я ему завидую. Беседовать с ним – одно удовольствие. Меня угостили превосходным черным кофе – пожалуй, только у литераторов бывает такой – и стали расспрашивать, какой я нашел Варшаву после столь долгого отсутствия и как поживают мои близкие. Зашел разговор и о недавнем бале. Его поддерживала главным образом Снятынская – она, кажется, догадывается о тетушкиных планах, а так как она родом с Волыни, как и Анелька, и хорошо с нею знакома, то не прочь сунуть свой розовый носик в это дело.

Я, разумеется, уклонился от разговора о делах личных, и мы много говорили только о нашем обществе. Я похвалил его за изысканность, и Снятынский (хотя сам он подчас резко критикует это общество, но так жадно подхватывает каждое доброе слово о нем, что это граничит с шовинизмом) тотчас пришел в прекрасное настроение и начал мне поддакивать.

– Я особенно рад слышать такие речи именно от тебя, – сказал он в заключение. – Во-первых, ты более других видел и имел возможность сравнивать, а во-вторых, ты изрядный пессимист.

– Ах, милый мой, я не уверен, что и это мое суждение не пессимистично, – ответил я ему.

– Как так? Не понимаю.

– Видишь ли, на столь рафинированной культуре можно бы написать, как на ящиках со стеклом или фарфором: «Fragile»¹⁰. Тебе, духовному сыну Афин, мне, другому, третьему, десятому приятно жить среди людей с такой тонкой духовной организацией. Но если вздумаешь что-нибудь строить на таком фундаменте, то предупреждаю: балки полетят тебе на голову. Ты как же полагаешь – эти дилетанты не окажутся побежденными в борьбе за существование, борьбе с людьми, у которых крепкие нервы, мощные мускулы и толстая кожа?

Снятынский со свойственной ему стремительностью вскочил с места, забежал по комнате, потом яростно накинулся на меня:

– Утонченность – только одна из черт наших людей, и черта положительная, как ты сам признаешь. Не воображай, что у нас ничего больше нет за душой. Приехал из-за моря, а судишь так смело, как будто всю жизнь здесь прожил!

– Не знаю, что у вас «за душой», но знаю, что нигде во всем мире не замечается такого отсутствия равновесия между культурами различных классов, как здесь, в Польше. С одной стороны – расцвет или, может, уже отцветание культуры, с другой – полнейшее варварство и темнота.

Мы заспорили, и я до самых сумерек просидел у Снятынских. Он сказал, что, если я буду навещать их чаще, он берется познакомить меня с представителями средних слоев нашего

¹⁰ Хрупкий, ломкий (*фр.*).

общества – эти люди не чересчур изысканны и не страдают дилетантизмом, а в то же время они далеко не такие темные, как я воображаю. Словом, он мне покажет людей здоровых духом, которые что-то делают в жизни и знают, чего хотят. Мы спорили запальчиво, перебивая друг друга, тем более что после кофе выпили по несколько рюмок коньяку. Когда я был уже на улице, Снятынский, стоя на лестнице, еще кричал мне вслед:

– Из таких, как ты, ничего уже не выйдет, но твои дети еще могут стать настоящими людьми. Для этого ты и тебе подобные должны сначала обанкротиться, иначе и внуки ваши не примутся ни за какую работу!

Мне все-таки думается, что в общем прав я, а не Снятынский. Записал же я наш разговор именно потому, что с самого приезда сюда все время думаю об этом «отсутствии равновесия». Ведь неоспоримый факт, что у нас в Польше классы разделяет пропасть, которая делает абсолютно невозможным всякое взаимное понимание и сотрудничество.

Снятыньскому придется согласиться со мной, что общество наше состоит из людей в известном смысле чересчур культурных и людей совершенно некультурных. Так мне, по крайней мере, кажется. Изделия из севрского фарфора – и простая, грубая глина, а между ними – ничего. Одни – «très fragile», другие – Овидиевы «rudis indigestaque moles»¹¹. Разумеется, севрский фарфор рано или поздно разобьется, а из глины будущее вылепит то, что ему угодно.

2 февраля

Вчера у нас был танцевальный вечер. Анелька обращала на себя всеобщее внимание.

Ее белые плечи выступали из волн тюля (или газа, или кто его знает, из какого там материала), как плечи Венеры, встающей из пены морской. В Варшаве уже разнесся слух, будто я женюсь на ней. Я заметил, что вчера Анелька, танцуя, на каждом повороте искала меня глазами и то, что говорили ей кавалеры, слушала рассеянно. Бедная девочка ничего не умеет скрыть, и разве слепой не заметит, что у нее на душе. А со мной так кротка, тиха и так счастлива, когда я подхожу к ней! Она все больше мне нравится, и я начинаю сдаваться. Ведь вот Снятыньские так счастливы вместе! Не впервые я задаю себе вопрос: глупее ли меня Снятынский или мудрее? Я из всех поставленных жизнью задач не решил ни единой, я – ничто. Скептицизм меня заел, я до сих пор не знал счастья и уже устал. А Снятынский – человек с интеллектом, развитым не менее, чем у меня, и притом он трудится. У него красивая жена, его жизненная философия – основа его счастья. Нет, право, я глупее! Ключ к философии Снятыньского – его жизненные догматы. Еще до своей женитьбы он говорил мне: «Есть вещи, перед которыми отступает мой скептицизм, их я не критикую и никогда не стану критиковать. Таким догматом для меня как писателя является общество, а для меня как человека – любимая женщина». И я, слушая его, думал тогда: «Нет, видно, у меня ум смелее, я не отступаю перед анализом даже и таких чувств». Сейчас же я вижу, что эта смелость ни к чему меня не привела. И к тому же он так очарователен, этот мой догмат с длинными ресницами! Твердость моя явно слабеет. То, что меня так сильно влечет к Анельке, нельзя объяснить одним лишь законом естественного отбора. Нет, есть в этом нечто большее, и я даже знаю, что именно. Анелька полюбила меня такой чистой и честной любовью, какой меня еще никто не любил. Ох, как же это не похоже на «часы фехтования», когда я наносил и парировал удары. Женщина, которая очень нравится мужчине и сама его любит крепко, непременно им завладеет, если будет стойкой и терпеливой. «Заблудшая птица», как выражается Словацкий¹², вернется к ней, как возвращаются к тишине и покою, вернется тем скорее, чем тяжелее будут ей одиночество и блуждания. Ничто так не покоряет, не трогает, не привлекает сердца мужчины, как сознание, что он любим. Выше я писал бог знает что о польках, но сильно ошибается тот, кто думает, будто из-за одной какой-

¹¹ неотесанные глыбы (лат.).

¹² Словацкий Юлиуш (1809–1849) – великий польский поэт, революционный романтик.

то глупой странички или со страху быть уличенным в непоследовательности я не сделаю того, что в данном случае сочту за благо.

Просто поразительно, до чего эта девушка радует мой глаз художника! После бала, когда гости разъехались и в доме наступила блаженная тишина, мы вчетвером уселись пить чай в гостиной. Желая взглянуть, что делается на дворе, я подошел к окну и раздвинул портьеры. Было уже восемь часов утра, в комнату проник дневной свет. В мерцании еще горевших ламп он казался таким синим, что я даже удивился. Еще больше я был поражен, когда увидел Анельку в этом освещении. Казалось, она стоит в Лазурном гроте на Капри. Какие тона были на ее обнаженных руках и плечах! И (что поделаешь, такая уж у меня впечатлительная натура!) в эту минуту я был окончательно покорен, Анелька так завладела моим сердцем, как будто ее красота была ее заслугой. Желая ей доброй ночи, я долго и как-то совсем по-новому жал ей руку, а она, не отнимая ее, сказала:

– Не доброй ночи, а доброго утра, доброго утра!

И если я не слеп, глаза ее говорили то же, что музыка ее голоса:

– Люблю, люблю!

Да и я влюблен... почти.

Тетя, глядя на нас, что-то радостно пробормотала про себя. Я видел у нее на глазах слезы. Мы едем в Плошов.

Плошов, 5 февраля

Уже второй день мы в деревне. Дорога была чудесная. Солнце, мороз. Снег скрипел под полозьями, искрился на полях. При закате бескрайняя белая равнина отливала фиолетовым блеском. На липах у въезда в Плошов оглушительно каркали и суетились целые стаи ворон.

Зима у нас суровая, но до чего же хороша! Есть в ней какая-то сила и величие, а главное – смелая откровенность. Как откровенный друг режет тебе правду в глаза без обиняков, так и она беспощадно хватается за уши. Зато ее бодрящая свежесть передается людям. Все мы были довольны тем, что едем в деревню. Кроме того, обе старушки радовались еще и тому, что их заветная мечта близка к осуществлению, а я – тому, что плеча моего касалось плечо сидевшей рядом Анельки. И быть может, потому и она казалась такой счастливой. Раза два она ни с того ни с сего, просто от избытка чувств, поцеловала, наклонясь, руки у тетушки. К ней удивительно шло пушистое боа и меховая шапочка, из-под которой едва видны были темные глаза, почти еще детские, и размятые морозом щеки. От нее так и веет молодостью.

В Плошове хорошо, тихо. Особенно люблю я в здешнем доме большие старинные каминные. Тетя лес бережет как зеницу ока, но все же дров не жалеет, и каминные топятся с утра до вечера, огонь в них гудит, трещит, веселит душу. Вчера после обеда мы долго сидели у каминки, я много рассказывал о Риме и его достопримечательностях, и меня слушали с таким благоговейным вниманием, что я даже в душе посмеялся над собой. Когда я говорю, тетя не сводит глаз с лица Анельки, ревниво проверяя, выражает ли оно надлежащий восторг. А восторга более чем достаточно. Вчера Анелька сказала мне:

– Другой человек мог бы всю жизнь там прожить, но не увидеть и половины тех красот, которые видишь ты.

А тетя немедленно вставила тоном, не допускающим возражений:

– Я всегда это говорила.

Хорошо, что здесь нет ни одного скептика вроде меня, иначе я оказался бы в крайне неловком положении.

Некоторый диссонанс в общее настроение вносит только мать Анельки. Эта женщина столько перенесла в жизни, столько у нее было забот, что веселость покинула ее навсегда, ее словно побил морозом. Она просто боится будущего, боится всякой перемены и безотчетно подозревает даже в явном благополучии какую-то скрытую западню. Она была очень несчаст-

лива с мужем, а после его смерти переживала тысячи треволнений, пытаюсь сохранить свое поместье, большое, но сильно обремененное долгами. Вдобавок ко всему она страдает мигренями.

Анелка же, как мне кажется, принадлежит к категории женщин (более многочисленной у нас, чем это думают), которых никогда не волнуют дела материальные. Это мне нравится, ибо как-никак доказывает, что у нее есть высшие запросы. Впрочем, меня сейчас в ней все восхищает. Нежность растет на почве чувственного влечения так же быстро, как трава после теплого дождя. Сегодня утром я встретил в коридоре горничную, которая несла Анелке платье и туфли. И меня почему-то особенно растрогали эти туфельки, как будто обладание ими было венцом всех добродетелей Анелки.

Мы, мужчины, вообще ужасно податливы. Я держу палец на своем пульсе и слезу за ходом любовной горячки. Пульс уже очень частый.

Плошов, 8 или 9 февраля

Тетя снова воюет с паном Хвастовским. Эта война настолько своеобразна, что, право, стоит привести здесь какой-нибудь из их споров. Тете они определенно нужны для возбуждения аппетита, Хвастовский же (к слову сказать, он управляет Плошовом превосходно) – шляхтич вспыльчивый, настоящий порох, и никому себя в обиду не даст, так что сражения между ними бывают ожесточенные. Не успевают оба войти в столовую, как начинают зловеще поглядывать друг на друга. За супом первый выпад делает обычно тетушка, начиная, к примеру, так:

– Я невесть с каких пор допытываюсь у вас, пан Хвастовский, в каком состоянии наша озимь, а вы, как назло, говорите о чем угодно, только не об этом.

– Пани графиня, осенью она всходила хорошо. А теперь на ней лежит снег толщиной в добрый метр – так что же я могу увидеть? Я же не господь бог.

– Пан Хвастовский, не поминайте имя божие всуе!

– Я к нему под снег не заглядываю, значит, ничем его не оскорбляю.

– Так, по-вашему, это я его оскорбляю?

– Выходит, что так.

– Пан Хвастовский, вы несносный человек!

– Ох, сносный, сносный, потому что многое сношу.

Вот в таком духе, все разгораясь, идет перепалка. Редкий обед проходит без колкостей с обеих сторон. Наконец тетушка умолкает и начинает с ожесточением есть, словно вымещая свой гнев на кушаньях. У нее действительно после этих ссор появляется замечательный аппетит. С каждым блюдом настроение у нее улучшается и становится в конце концов совершенно безоблачным. После обеда мы идем в гостиную пить черный кофе. Я веду под руку мать Анели, а Хвастовский – тетушку, и оба беседуют самым мирным образом. Тетя спрашивает его об его сыновьях, он целует у нее руки. Они ведь, в сущности, любят и уважают друг друга. Сыновей Хвастовского я видывал еще в те времена, когда учился в университете. Они, кажется, славные ребята, но отчаянные радикалы.

Анелку вначале немного пугали эти стычки за обедом. Но я ей объяснил, что они неопасны, и теперь она, когда начинается спор между тетушкой и управляющим, украдкой поглядывает на меня из-под длинных ресниц и улыбается уголками губ. При этом она до того мила, что так бы и съел ее, кажется! Ни у одной женщины не видел я таких почти алебастровых висков с голубыми жилками на них.

12 февраля

И в природе, и во мне происходят сущие Овидиевы метаморфозы. Мороз сдал, солнце скрылось, и царит тьма египетская. Не могу подыскать более подходящего слова для описания того, что делается вокруг, чем слово «гниль». Нет, все-таки у нас ужасный климат! В Риме

при самой плохой погоде десять раз в день проглядывает солнце, а здесь вот уже два дня так темно, что в комнатах с утра до ночи не тушат лампы. Эта черная противная слякоть словно просачивается в мозг, окрашивает мысли в черное и душит их. Она действует на меня убийственно. Да и не только на меня. Тетя и Хвастовский ссорились сегодня яростнее обычного. Хвастовский утверждал, что тетя, не позволяя рубить лес, портит его, так как старые деревья погибают. А тетя на это отвечала, что и так у нас в Польше достаточно вырубают лесов и она не желает в этом участвовать. «Я старею, так пусть себе и лес мой стареет». Эта логика напоминает мне анекдот про одного шляхтича: владея обширными и превосходными землями, он в своем имении обрабатывал лишь ровно столько, сколько «собака может обежать и облаять». Ну, да что об этом толковать! Сегодня мать Анели, сама того не желая, сильно испортила мне настроение. Встретившись со мной в оранжерее, она с материнской гордостью, неприятно смахивавшей на хвастовство, стала мне рассказывать, как один наш общий знакомый, Кромицкий, добивался руки Анельки. Я слушал ее с таким ощущением, как будто мне кто вилкой выковыривает занозу. Новость эта сразу охладила мое чувство к Анельке, хотя она-то тут ничем не виновата. Вот точно так же недавно лазурный свет утра, очень красивший ее, вызвал во мне прилив нежности к ней, хотя в том не было никакой ее заслуги. Эту обезьяну Кромицкого я знаю уже не один год и терпеть его не могу. Он родом из австрийской Силезии, где, по его словам, Кромицкие когда-то владели пожалованными им огромными имениями. В Риме он всем рассказывал, что его предкам еще в XV веке дарован был графский титул, и в отелях записывался «граф фон Кромицкий». Если бы не черные глазки, похожие на жареные кофейные зерна, и черные же волосы, он напоминал бы человечка, вырезанного для забавы из сырной корки – кожа у него как раз такого цвета. Вообще у него лицо трупа, он всегда вызывал во мне физическое отвращение. Фи, как ухаживание такого субъекта уронило в моих глазах Анельку! Я прекрасно понимаю, что она не может отвечать за Кромицкого и его намерения, но все-таки она мне стала неприятна.

Не знаю, с какой целью ее мать так распространялась об этом. Если она хотела «пришпорить» меня, то сильно ошиблась. Пани П., конечно, женщина с большими достоинствами, раз она сумела справиться с таким множеством затруднений в жизни и воспитать такую дочь. Но она бестактна и может порядком надоесть своими мигренями и макаронизмами.

– Признаюсь, я была за этот брак, – говорила она мне. – Порой я просто изнемогаю под бременем забот. Я женщина, в делах ничего не смыслю, и если немного и научилась в них разбираться, потеряв на этом все свое здоровье, то только потому, что это нужно было ради моего ребенка. А Кромицкий – человек умный, оборотистый. У него крупнейшие дела в Одессе, какие-то поставки, сделки с нефтью в Баку... *que sais-je?*¹³ Но он не польский подданный, и это, видимо, мешает его карьере. Вот я и думала, что если он женится на Анеле, то очистит от долгов ее имение и, вступив во владение им, сможет хлопотать о перемене подданства.

¹³ почему я знаю? (фр.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.